

Сергей Бычков  
Жизнь и стихи

*Заметки, размышления, воспоминания о Яне Сатуновском*

---

...Воспоминания здесь — не только мои. Вскоре после того, как Яна Сатуновского не стало, воспоминания о нем написали те, кто знали его дольше, больше, ближе, иначе, чем я: младший брат — Петр Абрамович Сатуновский и дочь поэта Елена. Эти, на мой взгляд, бесценные свидетельства хранятся в моем архиве. К ним я снова и снова обращаюсь — пытаюсь разобраться: каков он был — и почему был именно таков, что встреча с ним оказалась одной из самых значительных в моей жизни, да и сама жизнь без этой встречи сложилась бы иначе, ибо *слагаемые* у ней были бы иные.

Когда будет готовиться — не сомневаюсь, что будет, — мемуарная книга людей, знавших Сатуновского, я конечно, отдам в нее эти листки. Но пока это — *мой архив*. Подспорье мыслей моих и памяти — в таком вот качестве здесь *архивом* этим и пользуюсь...

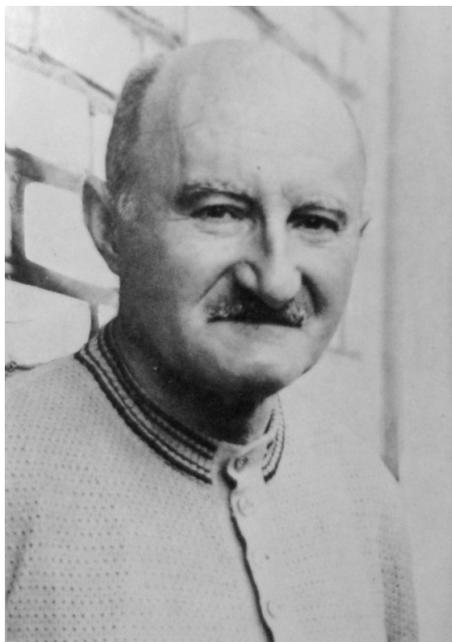
Размышляя о поэзии, Ян Сатуновский писал о Генрихе Сапгире: «...в настоящей поэзии нет абсолютно больших и малых величин. Хочу разобраться в общих чертах — что такое Сапгир, что в нем нового и что в этом новом старого. Нового — новая интонация. Я ее ощутил не сразу, вернее, не сразу правильно ощутил. В нашей русской поэзии (новой: от Иннокентия Анненского) поэтических голосов со своей интонацией, ну, может, 20—25: много ли это? Не знаю. Чем больше, тем, вроде бы, лучше». В этой характеристике он точно обозначил неповторимость не только поэзии Сапгира, но и своей собственной.

---

© Sergei Bychkov, 2010

© TSQ 33. Summer 2010 (<http://www.utoronto.ca/tsq/>)

Не только новой интонацией нас, его молодых друзей, пленяла его поэзия. Более точно отличительную особенность поэзии Сатуновского обозначил в одном из интервью близкий ему поэт Всеволод Некрасов: «Понятно, что три слова — авангардизм, формализм, модернизм — не могут быть абсолютно тождественны, не то, наверно, их было бы не три, а два или одно. Но это — говоря вообще. А если по существу, то острее, необходимей и понятней всего слово авангардизм слышалось именно в этой тройке. И значило оно заодно с остальными просто *нетакое*. Не такое искусство, как перед тем, не липовое, не соцреализм, не удушливое. Не окоченелое, а живое. Диссидентское — верней, искусство-диссидент. Искусство *эпохи возражения*. И не ради спора, не чтоб тебе выступить, возражения, а именно что по самому по существу... Чтобы было так, как само искусство хочет, хочет, а ему не дают. Как и никому не дают. Как дело требует, а не как начальство велит».



Ян Сатуновский. Фото 1974 г.

Сатуновского мы называли «дядя Яша» — поскольку по паспорту он был Яковом Абрамовичем. Это был необыкновенный человек — живая история. Уцелев в годы сталинских чисток, Сатуновский был для нас мостиком, связывавшем творчество оставшихся в СССР поэтов «серебрянного века» с нашим безвременьем.

Огромную роль на его формирование сыграла атмосфера. Влияние новых, принесенных революцией и Гражданской войной взглядов оказалось минимальным. Нравственные ориентиры, усвоенные в детстве, оказались преобладающими. Но про то — чуть позже.

Поэтому взгляд поэта Сатуновского на окружающую жизнь до самых последних дней его жизни оставался незамутненным. Сам он довольно четко определил момент зрелого поэтического взгляда на мир — это случилось в 1939 году. Можно только гадать, что же произошло тогда в жизни поэта. Все попытки критиков связать этот момент с какими-то чисто внешними событиями остаются неоправданными. В 25 лет Сатуновский обретает особый поэтический голос и то видение окружающего мира, которому уже никогда не изменит. Эпоха «Большого террора» не могла пройти мимо него. Зоркость его поэтического взгляда, постепенное осознание себя как свидетеля и летописца кровавой эпохи привели к тому, что он начал вести свой поэтический дневник. Его стихи сродни тем скупым и завершенным линиям, которыми график-мастер *запоминает* образы-метаморфозы ускользающего времени. Художники знают — как трудно писать *воздух* — каким бы ни был сюжет картины. Или его разреженность, нехватку. Сатуновскому удалось мастерски передать удушье советской атмосферы. Вот его стихи начала 50-х:

И чем плотней набивается в уши,  
чем невыносимей дерёт по коже,  
тем лучше, говорю я, тем хуже,  
тем, я вас уверяю, больше похоже  
на жизнь, в которой трепет любовный

сменяется скрежетом зубовным,  
а ритм лирического стихотворения —  
не криком, так скрипом сопротивления,  
хрипом...

Его поэзия всегда оставалась «искусством эпохи возражения». Все попытки — не только самого поэта, но и его друзей, — опубликовать хотя бы что-то из его стихов наталкивались на яростное сопротивление литконсультантов, многие из которых прекрасно понимали, с каким поэтом столкнула их «служебная» судьба.

Я не припоминаю его особых сетований на непонимание и со стороны собратьев-поэтов. Он мужественно нес свой крест. И более чем скептически оценивал те свои творения, которыми «грешил» в годы учебы в Днепропетровском университете, подрабатывая в местной вечерней газете «Звезда».

И написал об этом:

Мальчишкой я подхалтуривал  
в области политической карикатуры.  
Чемберлен. Бриан. Желтый Интернационал.  
Бывало, не хуже Ефимова  
кромсал их до единого.  
Как бог черепаху, уродовал  
врагов народа:  
Бухарина, Радека, Сокольникова, Пятакова.  
Халтурный художник,  
поэт халтурный,  
я не был бездарный,  
Я был бездумный.

4 декабря 1961

Сатуновский следовал завету Тютчева, как бы *сфокусированному* Евгением Кропивницким на трагический XX век:

Молчи, чтоб не нажить беды,  
Таись и бережно скрывайся...  
Верши по малости труды  
И помаленьку майся, майся.

Раскрывался Сатуновский, лишь когда был уверен, что вокруг — понимающие, любящие его люди. И видеть-слышать его в такие минуты было увлекательно.

Он говорил о своих *учителях* — о поэтах XX столетия, о тех, кто в молодые годы оказал на него влияние. О Велемире Хлебникове, которого в стихах почтительно называл учителем.

О замечательном украинском писателе Миколе Хвьевом, которого затравили, обвиняя в «буржуазном национализме», найдя в начале 30-х годов сытную пищу для этих *криминальных* нападок в сборнике его литературно критических статей «Мысли против течения» (1926), где он ратовал за самостоятельное развитие украинской литературы. Для нас это имя было совершенно неизвестным, хотя на излете первой трети XX века проза Хвьевого переводилась по всей Европе. Он покончил с собой в 1933-м, предупрежденный друзьями о близящемся аресте.

С огромным уважением Сатуновский относился к Егору Оболдуеву, встречался с ним, когда тот изредка приезжал в Москву из Голицыно, а потом, после его смерти навещал вдову, поэтессу Елену Благинину. Трагическая судьба Оболдуева, которому в 30-е годы довелось пройти через воспетую советскими писателями во главе с Горьким одну из каторжных «сталинских строек» — Беломорканал, а потом — «101-й километр» и «минус 120», то есть запрет жить в крупных городах, а потом — два последних года войны, судьба эта не то, чтобы утешала Сатуновского, но забыть не давала, что его собственный нелегкий удел мог быть много хуже. При жизни Оболдуева было опубликовано одно стихотворение — в 1929 году и в 1943 году — один рассказ. После его смерти (1954) — почти за четверть века — вдове удалось опубликовать в советской печати всего 6 стихотворений.

Сатуновский подвинул Геннадия Айги, и тот составил сборник стихов Оболдуева, который под названием «Устойчивое неравновесие» вышел стараниями немецкого слависта Вольфганга Казака в 1979 году в Мюнхене в серии «Труды и тексты по славистике». И только двенадцать лет спустя на-

ново составленная, но с тем же заглавием, книга Оболдуева была издана в Москве.

И как-то по-особенному *молодой*, не вижу более точного эпитета, становилась его интонация, когда он вспоминал и знакомстве с конструктивистами, с поэтической молодежью, входившей в этот Цех. Он приехал в Москву четырнадцатилетним и прожил здесь четыре года, учился в заведении с заковыристым названием «Комбинат по подготовке инженеров, техников и десятников строительных работ». Однако настоящим *учением* стало для него иное — литературное. Надо думать, нечто серьезное увидели в этом провинциальном подростке молодые поэты-конструктивисты Иван Пулькин, Борис Лапин (оба погибли на фронте, в сорок первом) и Борис Агапов (в начале тридцатых, в разгар «борьбы с формализмом» *ушедший* из литературы в журналистику и кинодокументалистику — и сорок лет, до самой смерти, отдавший «производственной теме»). Он был младше любого из них лет на десять, но приняли его *на равных*. И ввели в пульсировавшую противоречиями, диспутами, собиравшими переполненные залы поэтическими вечерами жизнь литературной Москвы, еще не прибитую тупой кувалдой РАППа.

Сильное впечатление произвела на него встреча с поэзией главы Цеха, Ильи Сельвинского — настолько сильное, что, когда почти четыре десятка лет спустя, в 1966 году, дочь Сатуновского подарила ему внука, то было решено дать ему имя — Илья. В письме к Илье Сельвинскому Яков Абрамович сообщал об этом событии. И это тем более интересно, что, судя по воспоминаниям брата и сохранившимся в архиве самого поэта письмам Сельвинского, чувство не было взаимным: и до войны, и после, уже в шестидесятых годах, Сельвинский отнесся к стихам Сатуновского весьма сдержанно, *вчуже*, возможно, рискну предположить, неосознанно, интуитивно уловил в них какую-то ноту, напомнившую о давних баталиях, о самых непримиримых своих литературных противниках — Маяковском и иже с ним, и ведь прав, прав ока-

зался! — Сатуновский многому учился — и научился именно у этих поэтов...

Те четыре московских года решающе повлияли на формирование поэтических взглядов и пристрастий Сатуновского, он сам сие признавал. Он успел вдохнуть вольного воздуха, устояв перед уже просочившимися туда вредными примесями. Вскоре после того все окна в СССР были закупорены. Молодым поэтам, не успевшим раскрыться и стигнувшим в сталинских лагерях, посвящено его стихотворение:

Помню ЛЦК — литературный центр конструктивистов.  
Констромол — конструктивистский молодняк.  
Помню стих: „в походной сумке  
Тихонов, Сельвинский, Пастернак.“

Зэк был констриком, но с новолефовским уклоном,  
Как никак, а без Маяковского никак.  
Зэк был зэк, и по естественным законам  
зэка кончили в колымских лагерях...

В незавершенной автобиографии 1982 года Сатуновский вспоминал о жизни в Москве: «А напротив, прямо через дорогу от одного из окон „Юности“ и в 25-ом, и раньше, и потом — жил в многоэтажном доме на верхнем, шестом этаже — потом его надстроили — мой покойный двоюродный брат — тоже Яша; и когда я впервые приехал в Москву и он вышел показывать мне Москву, то его Люся высунулась своими грудями из окна шестого, может быть даже седьмого этажа, и прямо оттуда выпал и плюхнулся об асфальт в двух шагах — теперь уж точно в двух шагах от меня — большой, еще не электрический, а чугунный с печатными буквами, — я его потом отнес наверх — старинный уют. А Люся так перепугалась — но это было после, в 28-ом, а в Ленинград я вообще ездил только будучи уже студентом, я был студентом химиком Днепропетровского государственного университета...»

В 1930 году он был на выставке Маяковского, где впервые увидел поэта: «Мальчишкой мне посчастливилось видеть Владимира Маяковского на его выставке „20 лет работы“. Он был мрачен в этот день. Какой-то юноша скоком-боком налетал на поэта, выкрикивая, как заклинание: „Ваши стихи непонятны народу!“

Не знаю, кто дал ему право выступать от имени народа. На выставке было человек пятнадцать, один из посетителей привел сынишку, лет шести. Маяковский хмуρο оглядел всех, подошел к мальчику, поднял его и, поддерживая одной рукой, а в другой зажав книгу, стал читать:

Крошка сын  
к отцу пришел,  
И спросила кроха:  
— Что такое  
хорошо  
И что такое  
плохо?

Прочитав стихи до конца, он спросил мальчугана: ну что, понятно?

— Понятно, — ответил тот.

— Все понятно?

— Все понятно.

Маяковский обернулся к своему «оппоненту», но того уже и след простыл. Все вздохнули с облегчением; заметно было, что у самого поэта отлегло на душе после «признания» его стихов».

...Короткое отступление — о забытом в сегодняшней России ровеснике Сатуновского, всего на год младше, поэте Савелии Гринберге<sup>9</sup>.

Он тоже родился в Екатеринославе. Когда ему было два года, семья переехала в Москву. В послевоенные годы Гринберг работал в московских музеях — лектором, научным сотрудником. В 60-е годы — старший научный сотрудник музея В. В. Маяковского. Собственные стихи Гринберга были из-

вестны и ценились в узком кругу литераторов, связанных с тем же Домом-музеем. Он поддерживал усилия поэта Геннадия Айги, который с начала 60-х годов в музее Маяковского на Таганке заведовал изобразительным отделом. Гена дружил с Харджиевым. В одной из наших бесед Айги вспоминал: „В течение 10 лет по долгу службы я был ответственным за проведение выставок и вечеров. Я работал в архивном фонде, и мы в эти невероятно жуткие годы устраивали в филиале музея на Таганке выставки: Казимира Малевича — в 62-м году, в том же году выставку Малевича и Татлина. Этот год вообще был насыщенным — мы еще успели устроить выставку Филонова и Матюшина. Затем последовала выставка Ларионова и Гончаровой в 65-м году. Потом выставка Елены Гуро, а за ней — выставка Василия Чекрыгина, гениального художника. Кстати, его гениальным считал священник Павел Флоренский. Последней в этом ряду была выставка Шагала и художников — его современников. Шаггал оказался в центре, это была сборная выставка. Но ее закрыли по указанию Фурцевой в 1971-м году. Она потом каталась к Шагалу, была в гостях у него, очень себя вальяжно вела, получала от него подарки».

Несмотря на то, что выставки были камерными, они пробудили интерес к живописи 20—30-х годов. Коллекционер живописи Михаил Макаренко (Гершкович), в середине 60-х годов устроил картинную галерею при новосибирском Академгородке вместе с молодым другом Вячеславом Родионовым. Они продолжили дело, начатое Айги и Харджиевым. Их первая выставка прошла в 1965 году. Эти выставки в Москве и Новосибирске стали для *интеллектуальной* Москвы ярким культурным событием.

Помню, как в конце 60-х я приходил в небольшой особняк на Таганке (филиал музея Маяковского) к Геннадию Айги. В музее царил особая, атмосферу, которую, пожалуй, всего вернее назвать *внутренней свободой*. Много зависело от директриссы — Нины Дмитриевны Городецкой, которую сместили в начале 70-х годов. После ее увольнения пришлось



...Одевался он просто — весной и осенью непрменные плащ и шляпа. Всегда с авоськой — из Москвы в Электросталь, где жил с семьей, привозил продукты. Любил носить свитера. Никакой сутулости — сказывалась многолетняя армейская выучка. Когда снимал шляпу — оказывалось, что половину головы занимала лысина. Всегда был внутренне собран. Это впечатление усиливали аккуратно подстриженные усики. В общении был немногословен, больше слушал. Никогда не позволял себе менторского тона в общении с нами, младшими. Возникало ощущение, что носил в себе тайну, к которой не дано прикоснуться никому. Причем, тайна эта не была радостной. Казалось, она вдавливала его в землю. Но он никогда не жаловался. Лишь в нескольких стихах прорывались отчаянные отголоски. Когда же оказывался в дружеском кругу, то оттаивал и раскрывался как обаятельный собеседник, читал стихи чуть глуховатым голосом, словно заколачивал гвозди...

Из воспоминаний Елены Сатуновской: «Я обожала ходить с отцом куда угодно: на выставки, вечера поэзии, просто в гости. Папу везде (куда мы приходили) уважали и ждали. Он был с друзьями (многие были намного моложе его) совсем иным, чем с семьей. Уходила необходимость быть отцом, мужем. Оставался поэт, остроумный (и злой подчас) собеседник и просто талантливый человек. Мне приходилось наблюдать эти метаморфозы. Я им не удивлялась, а восхищалась и принимала, как и всё в отце».

Сатуновский всегда оставался самим собой и не стеснялся признаться, если чего-то не знал. Причем не только в общении, но даже письменно: «Пруста я читал в ранней молодости, но не смог всего одолеть — конечно не потому, что он показался мне "модернистом". Просто очень длинно написано, а книга библиотечная, что делать. Все-таки я его читал понемножку, помнится, с удовольствием. "Дублинцы" Джойса мне не особенно понравились, а отрывки из "Улисса", напечатанные, кажется, перед самой войной, показались интересными, вполне реалистичными, но трудновато

написанными. Много слов непонятных. Кафку я еще не читал».

В нынешней историко-литературной *табели о рангах* Сатуновского принято причислять к так называемой «лианозовской группе». На мой взгляд, это не совсем верно. Он часто часто бывал в Лианозово, относился с любовью и пониманием к художникам — семье Кропивницких, к Оскару Рабину, высоко ценил стихи Генриха Сапгира и Игоря Холина, которые формировались под поэтическим влиянием Евгения Кропивницкого и живописи Оскара Рабина. В его стихах, в его статьях и размышлениях о поэзии обнаруживается немало такого, что сближало его с «лианозовцами». Однако — при более пристальном взгляде — отличий оказывается не меньше, я бы сказал, что и в этом кругу он сохранял свою «отдельность». Прав Петр Сатуновский, отметивший, что Лианозово стало тем местом, где его брат в начале 60-х годов оттаял и обрел второе дыхание в поэзии. И всё же Ян Сатуновский принадлежал к иному направлению русской поэзии. Он признавался: «Я лично тоже отношу себя к числу признанных поэтов, хотя, как читатель, больше всех перечисленных люблю Пастернака». А «перечисленные» поэты так непохожи друг на друга, это — Ходасевич, Сельвинский, Слуцкий и даже Ахмадулина с Вознесенским. Относительно Пастернака не лукавил — ему посвящено несколько прозаических стихотворений.

Из воспоминаний Петра Сатуновского: «Кажется невероятным, но среди трухи каким-то шестым чувством, а может быть — одиннадцатым — брат удивительно точно отбирал все лучшее, что теперь неоспоримо, но тогда только начиналось — истинную поэзию. Я хочу это подчеркнуть, чтобы не казалось, что я называю имена, стоящие сегодня в первом ряду. Каким образом формировался этот безукоризненный вкус к поэзии и слову — мне непонятно и теперь».

Наиболее близким из живущих поэтов был Всеволод Некрасов, которого он любил как сына и посвятил ему немало стихотворений.

Из размышлений Сатуновского о поэзии Сапгира: «...Итак, Сапгир никакой не декадент, хотя и „деформирует действительность“, и любит писать о снах... Характерная черта его поэзии — совершенное отсутствие отчаянного подтекста (часто у Некрасова, Холина, иногда у меня): „а, черт с ним, со всем на свете!“

Наоборот: „интересно, черт подери!“ (Обратите внимание: у Некрасова „где хочу, там кончу“ — злобно, может быть, трагично; а у Сапгира „что хочу, то чучу“ — озорно, и, разве что грустновато. Это видно из контекста, конечно, а не из самих цитат). Сапгир — жизнерадостный поэт».

О ком и о чем бы ни писал поэт, он пишет о себе. Сатуновский, несмотря на внешнюю угрюмость, был жизнерадостным поэтом. Его стихи — меткие, мгновенные зарисовки с натуры. Этим он напоминал Василия Розанова. Его «Опавшие листья» оказали влияние на многих писателей XX века. Розанов стихов не писал — он чутко ловил и мгновенно прищипывал порхающие мысли, как коллекционер бабочек или жуков. Так же поступал и поэт Сатуновский:

"Свободу" надо раскавычить.  
Россию можно закавычить.

Мысли, облекаясь в стиховую плоть, становились афоризмами.

Кстати, в той же статье о Сапгире Сатуновский переписывает прозой его поэму «Старики» — и это, опять-таки, дает *розановскую* ассоциацию...

Перечитывая сегодня разбор этой поэмы (тема которой была особенно интересна в середине 60-х самому Сатуновскому — близился *пенсионный* возраст, обретение, наконец, наконец, полной свободы), думаю о том, что не только стихам, но и критическому и литературоведческому наследию Сатуновского (а при жизни автора его статьи отвергались редакторами почти столь же неукоснительно, как стихи) еще только предстоит быть по-настоящему прочитанными, понятыми, оцененными.

«“Видна половина — прозрачная — раввина — и стена — чужая темная спина”. Очень значительный образ. Мне лично он напоминает и о стене плача, и о “дырявых” статуях современных французских мастеров, которые я видел на московской выставке. Напоминает о разрушенном Иерусалиме и Роттердаме Цадкина. Масса рифм. *Видна, половина, раввина, стена, спина*».

Стоит обратить внимание на ряд ассоциаций, который порожден строками Сапгира. В послевоенное время Сатуновский не выезжал на границу. Он не был в Израиле, не видел воочию стену Плача. Но он *знал* всё это — и делился своими богатствами с нами. И разговаривал на равных — всегда. Хотя начинавшиеся наши судьбы были несравнимы с его судьбою.

Я тогда, конечно, не знал его биографии. А когда — уже после смерти дяди Яши — узнал, она кое-что прояснила для меня в этом удивительном человеке.

Яков Абрамович Сатуновский родился 23 (10) февраля 1913 года в Екатеринославе (Днепропетровске) и был старшим сыном в семье Аврама Фриделевича Сатуновского. Отец его вырос в большой семье — был одним из четырнадцати детей. Семеро дожили до Отечественной войны.

Семья была дружная — и музыкальная, у нее даже был, так сказать, собственный оркестрик, благо, *исполнителей* хватало. Аврам неплохо играл на гитаре и пел украинские народные песни.

Начинал он аптечным приказчиком. После революции стал заведовать санитарно-гигиеническим магазином и оптической мастерской — в оптике разбирался неплохо.

Из воспоминаний Петра Сатуновского: «...Это была европеизированная семья городских ассимилированных евреев, типичная для Екатеринослава в начале XX века. Никто не говорил на идише, а тем более, на иврите, <...> родной<sup>®</sup> язык был всегда русский<sup>®</sup> с примесью украинских неологизмов».

По словам племянника поэта, Леонида Сатуновского, фамилия его семьи (первоначально — Сатановские — изме-

нена в 1903 году) берет начало от имени города Сатанова. Мать поэта — Иоганна Якововна (урожденная Кордовер) — была родом из Прибалтики, из семьи маляров-афрельщиков. Она свободно владела немецким и в годы первых пятилеток работала переводчицей на заводе имени Петровского, где трудились иностранные «спецы». Это были тяжелые годы — голод на Украине, карточная система.

И мать и отца отличала, по воспоминаниям младшего сына, «...щепетильная честность. Заведая магазином, отец демонстративно, при всех, платил в кассу за кусок мыла или зубной порошок, который приносил домой. Честность и правдивость в доме были естественным, непреложным законом, о котором никогда и не говорили. Это была аксиома. Не кривить душой. Если говорить — говорить то, что думаешь, как бы горька иногда правда ни была. Я так долго останавливаюсь на этих качествах родителей потому, что вижу их во многих стихах брата. И еще, — может быть, хрестоматийное — трудолюбие. В годы Гражданской войны отец варил мыло, в тридцатые годы делал липкую бумагу для мух, в обмен на которую в продовольственных магазинах давали ему какую-то еду для нас, детей. Во время эвакуации, почти семидесятилетним, отец грузил уголь где-то на складе, чтобы прокормить семью».

Лет в восемьдесят Аврам начал рисовать, писать стихи и прозу. Сохранились его стихи на украинском языке, а также пятидесятистраничный рассказ «Полывяный глечик» и «наивные» рисунки.

Из воспоминаний Петра Сатуновского: «Рисунки были забавные — время в них переместилось на полстолетия назад — хотя создавал он их во время московского международного фестиваля молодежи. Он рисовал примитивистские, как Руссо, картинки с подписями типа — “Не забудем жертв кишиневского погрома 1903 года!”, или “Поможем голодающим Поволжья 1891 года!”, “Долой Маркова-второго и Пуришкевича — самых черносотенных депутатов Второй Государственной Думы!” Но рядом с этими рисунками вдруг появлялись портреты лысого человека с бородавкой на щеке и в

обнимку с кукурузой, а также людей в сомбреро, — видимо, сказывалось влияние фестиваля».

Речь здесь, естественно, о Всемирном фестивале молодежи, что состоялся в пятьдесят седьмом в Москве.

Семья не была религиозной. Сам Аврам Фриделевич «говорят, многие годы, особенно до революции, соблюдал традиции, ходил в синагогу, но в 1925 году, когда от скарлатины умерла моя сестричка, сказал: “Если Бог меня не услышал, когда я так просил его, значит Его нет”».

И снова — тот же мемуарист, о детстве брата: «Жили мы в большом (по тем дореволюционным, провинциальным меркам) трехэтажном доме с двором-колодцем, залитом уже тогда асфальтом. В детстве двор казался огромным, а недавно увидев его, я удивился его крохотности. Двор, как и город, как и весь мир впрочем, четко делился на интеллигенцию и простолюдинов. Дом стоял в центре города, на Екатерининском проспекте, теперь Карла Маркса, и «парадные» квартиры с выходом на проспект занимали доктор, адвокат, семья царского офицера. А во дворе жили люди попроще: скорняк, бухгалтер, портной, каллиграф, парикмахер и мы. В Гражданскую, а может раньше — в конце империалистической — поселились во дворе беженцы с Волыни, Западной Украины, Польши. Они резко отличались от коренных екатеринославцев — говорили на непонятном языке, ходили в ермолках и засаленных лапсердаках, и какой-то специфический запах стоял в их квартирах. Мы жили в глубине двора, в небольшой квартире на первом этаже и рядом с нашими окнами была дверь в дворовую уборную, всегда раскрытую, вонявшую и полную жирных прожорливых крыс».

А вот — он же — о родителях: «..отец по существу был дремучим, темным, необразованным человеком. Я бы сказал — обывателем-самоучкой. Сколько я себя помню, отец при мне не прочитал ни одной книги. Иногда читал газеты, с появлением радио и телевидения, по-моему, не читал и газет. Другое дело — мать. Любовью к языку, к литературе, книгам, рисованию — всем этим мы обязаны матери. Она всегда читала. Она, как мне казалось, читала все. Безуслов-

но — всю русскую классику и все популярное в то время иностранное. Я не помню ее без книги. Как потом — не представляю себе брата без книги, без свежего журнала, сборника стихов. Они всегда были в курсе всех литературных новинок и умели безошибочно отличать действительно стоящие (заслужившие потом успех, а иногда и забытые по многим причинам) вещи. Брат был старше меня на 6 лет, и в сознании моем детство начинается в городской библиотеке, куда лет с двух или трех он приводил меня. Там, на собраниях кружка любителей книги или литературного кружка, я тихо сидел в уголке, перелистывая книги с картинками, а лет в 6 и меня записали в библиотеку. Жили мы неподалеку от нее и все свободное время уже школьником я вместе с братом проводил там. <...>

Если вы представите «пай-мальчика», кучерявенького «херувимчика», хиленького на вид, с всегда грустными, испуганными глазами идеального еврейского мальчика — вы представите брата, каким он был в детстве. Он ни с кем не дрался, не курил, не бегал по подворотням. Он читал книги, рисовал, прилежно учился. Он был любимцем, гордостью и радостью матери. Он был первенец. И эта любовь и восхищение сыном остались у матери до последних дней. И необыкновенную любовь, по-моему, единственную — к матери — брат сохранил на всю жизнь. В нашем доме, с улицы жила семья адвоката Черникова. Их единственный сын, Шура, был однолеткой с братом, и они подружились. Я думаю, что, если матери брат обязан любовью к книгам и языку, то Шура Черникову он обязан приобщением к поэзии. Об этом в своих записках пишет и Яков Абрамович».

И, добавлю, даже вспоминает строчки из школьных стихов Александра Черникова:

Капли слякоти припали к экипажам.  
Катят в экипажах бобр и шиншил.  
И высокомерней камерпажа  
Мерный и высокий шик шин...

Особенно Сатуновский любил поэзию Маяковского, Асеева, Хлебникова.

Из воспоминаний Петра Сатуновского: «Я помню маленькие, в четверть тетрадного листа "изданные" братом — переписанные и оформленные, как книжки стихи Маяковского "Облако в штанах", "Левый марш", "Флейта-позвончик". Других не помню, но было их много — своя "библиотечка" поэтов. Было это в году в 1927—1928, лежали эти книжечки в большом письменном столе в ящике, и я часто вытаскивал их, рассматривал, читал. Уже тогда в доме постоянно читали Хлебникова Пастернака, Веру Инбер, Тихонова, Сельвинского, но мне кажется, самым любимым был Маяковский. Есенин — в другом лагере. Есенин — "кулацкий" поэт. А Маяковский ритмом, темпом, новаторским словом импонировал брату. Наверное позже — уже в тридцатых — Сельвинский, Пастернак, Гумилев, Ахматова, Цветаева, Анненский и, конечно, всегда — Блок. "Незнакомку", как гимн, пели при каждой встрече, на каждой вечеринке. Брат с друзьями (впоследствии — все профессора, доктора наук, известные физики, химики, механики), начиная с 16 лет и вплоть до 41 года».

Яков Сатуновский закончил «семилетку» 2-й Екатеринославской трудшколы. Затем были четыре года московской жизни, о которых уже говорилось. А в тридцать первом он возвратился в Днепропетровск и поступил в университет, на химический факультет. В каникулярное время наездами продолжал бывать в Москве и Ленинграде.

24 февраля 1937 года женился на сокурснице Антонине Степановне Грековой. Брак оказался долговечным — пережил войну и послевоенную разруху. В семье росли две дочери — Виктория, родившаяся в 1941 году и Елена, двумя годами младше. Для пополнения домашнего бюджета, который в университетские учебы был весьма скромным, Сатуновский начинает вести в вечерней днепропетровской газете «Звезда» упомянутый уже юмористический отдел под названием «В шутку и всерьез.» В этой же газете иногда печатались его оригинальные стихи.



"Ро-та, вперед, за Ро-о..."

(одеревенеет рот).

Этих. В земле.

"Слышь, Ванька, живой?"

"Замлел."

"За мной, живей, е!"

Все мы смертники.

Всем

артподготовка в 6,

смерть в 7.

После ранения он был направлен в армейскую газету 66-той армии (впоследствии — 5-й гвардейской) «Патриот Родины». Зачислили художником, но чаще он писал стихи, которые любили и знали бойцы, он стал среди них популярен.

Из воспоминаний Петра Сатуновского: «Я бывал часто на передовой, и стоило мне назвать фамилию, как все до одного говорили: "Ну, как же — Сатуновский! Мы каждый день читаем ваши стихи и корреспонденции!" Мне приходилось говорить, что я только брат, брат того самого Сатуновского. Что я и делаю до сих пор».

Он же рассказывал, что однажды — за ящик водки — Яков Абрамович написал гимн какой-то дивизии, который поют до сих пор.

Старший брат сумел перетащить младшего в свою газету, с тех пор они шли по войне вместе.

Из воспоминаний Петра Сатуновского: «Весной 1943 года, после Сталинграда, брат отыскал меня в запасном полку Брянского фронта. Приехал с запросом политуправления о переводе меня в 5-ую гвардейскую армию в газету "Патриот Родины". Я до этого (с первого дня войны) был во фронтовой кинобригаде Юго-Западного фронта, затем в политуправлении Брянского фронта. Прощтрафился и попал в запасной полк. Несмотря на то, что 15-летним мальчишкой я работал некоторое время репортером в днепропетровской газете, я, конечно, в работе литсотрудника ничего не смыслил и ничего не умел. <...> Эта наука значительно быстрее усваи-

вается под огнем и из-за страха оказаться, если не сумеешь освоить эту профессию, под огнем непрерывно... Я не скажу, что война изменила психологию брата. Он к этому был готов, и реалистическое отношение ко всему происходящему, восприятие жизни и войны такой, какая она есть на самом деле — вот причина той правды, честности, трагизма, которые видны в его стихах. Думаю, что этому способствовала и дружба с двумя писателями, работавшими в той же газете — это были Марк Михайлович Пратусевич, еще в 20-е годы написавший роман "Дело РБ". А также Ян Новак, все знавший о литературных делах, сидевший до войны за какую-то глупо сказанную фразу, прошедший через всю войну. С полной грудью орденов после 1945 года опять сосланный в Сибирь, вернулся он только в 1954 году, был реабилитирован. После войны написал роман "Севернее Сталинграда", который был издан лишь после его смерти. Эти люди были старше брата, но они были единомышленниками — у них были одинаковые взгляды на Сталина и на Щербакова, и на литературу и на многое другое. И кроме того, они были прекрасные, много знавшие собеседники. Думаю, что общение с ними в значительной мере повлияло на брата».

Войну Сатуновский закончил гвардии лейтенантом, с орденом Красной Звезды и медалями.

Многие стихи его включались в военные сборники. В городе Александрии Кировоградской области в одной из школ есть уголок III Александрийской дивизии. Песня о ней, видимо, та самая, о которой упоминает младший брат, написана Яном Сатуновским. И он до последних дней переписывался с Александрийскими школьниками. Его фотография и стихи хранятся также в одной из школ города Краснодара. Сатуновский написал, в частности, и гимн 97 гвардейской Полтавской дивизии:

Выходите вперед, запевалы,  
Песни просят в походе бойцы.  
Запоем же, как пели бывало  
У Чапаева наши отцы...

Эти стихи он никогда не представлял себе среди *оригинальных* стихотворений. И это понятно — как они выглядели бы рядом, например, с такими, в сорок четвертом написанными:

Сейчас, не очень далеко от нас,  
идёт такое дикое кровопролитье,  
что мы не смотрим друг другу в глаза.  
У всех — геморроидальный цвет лица.  
Глотают соду интенданты.  
Трезвеют лейтенанты.  
И все молчат.  
Всё  
утро  
было,  
а сейчас —  
всё  
смогло.  
Молча,  
разиня рот,  
облившись потом,  
молча  
пошла, пошла, пошла пехота,  
пошла, родимая...

В сорок пятом в Праге состоялась встреча Яна Сатуновского с Ильей Эренбургом.

Из воспоминаний Петра Сатуновского: «...До сих пор помню все детали рассказа Яна. Эренбург принял его хорошо, доброжелательно слушал его стихи. Не газетные однодневки, а серьезные «настоящие» стихи. Стихи Эренбургу понравились. Они долго говорили, и, прощаясь, Эренбург сказал:

— Вам не надо ехать в Россию. Вас там ничего хорошего не ждет. Вы и беспартийный, и еврей. Да еще стихи такие... Печатать вас там не будут.

— Но вас же печатают? — возразил брат.

— Я — другое дело, — ответил Илья Григорьевич, — я уже в таком положении, что не печатать меня они не могут. Так что послушайте меня, старика, езжайте на Запад ..

— Нет, я не могу. У меня дома старики родители и две маленькие дочки. Это исключено.

— Ну, как знаете.

Он написал рекомендательную записку в Москву, Маршаку. С этой запиской Маршак переправил брата к Шкловскому. Виктор Борисович принял его весьма благожелательно, затем всю жизнь приглашал его к себе, слушал новые стихи брата, подолгу беседовал с ним о жизни и даже написал в «Литературной газете» хвалебную рецензию<sup>1</sup> на его детские книжки...»

И еще один Пражский эпизод — из тех же воспоминаний: «В Праге, летом 1945 года, мы с братом “одолжили” в русской библиотеке всю Цветаеву — там были “Поэма лестницы”, и “Поэма конца” и “Молодец”. Там были сборники ее стихов, захватили заодно и антологию зарубежной поэзии. Брат восхищался Ходасевичем, с интересом читал неизвестные ему стихи Вячеслава Иванова и со смехом рассказывал, что видел изданную в Париже книгу какого-то поэта, кажется, Гриншпуна, названную им “Из моих тысячелетий”».

Вернувшись с войны, он обосновался с женой и двумя дочерьми в подмосковном городе Электросталь. Сюда же перевез родителей, здесь похоронил их. Работал на закрытом оборонном химическом предприятии инженером. Имел не меньше десятка авторских свидетельств как изобретатель. Но эту свою работу ненавидел. Когда в 1966 году родился внук Илья, он ушел на пенсию и целиком отдался поэзии. Послевоенный период, вплоть до начала 60-х годов считал самым тяжелым.

Из воспоминаний Петра Сатуновского: «В начале 60-х годов брат как бы приобретает второе дыхание. Это произошло после знакомства с «лианозовской» группой — Евгением Кропивницким, Оскаром Рабиным, Генрихом Сапги-

---

<sup>1</sup> Это обмолвка памяти — на самом деле Виктор Шкловский в статье „Первые страницы большого мира“ в „Литературной газете“ от 3 декабря 1969 года посвятил три небольших абзаца детской книге Яна Сатуновского „Раз-два-три“, посвященной считалкам и вышедшей в издательстве „Детская литература“ в 1967 году.

ром, Игорем Холиным. Особо привязывается к Геннадию Айги».

В Лианозово он встречается и близко сходится со Всеволодом Некрасовым, с поэзией которого его роднит лапидарность и бережное, даже скупое отношение к слову. К этому же времени относится и его дружба с поэтом Овсеем Дризом. Его приезд в Лианозово вспоминал Генрих Сапгир: «Наш знакомый поэт-переводчик (особенно Лопе де Вега) Володя Бугаевский привел однажды своего приятеля, такого же усатого, тоже лысоватого, Яна Сатуновского. Тот, увидав желтые совершенно живые бараки Оскара и услышав стихи про их население, которые сочинял Игорь Холин, обрадовался, будто встретил близких родственников. Он сказал: "Зовите меня просто Ян". И стал лианозовцем, хотя пришел к своей манере раньше и сам. Всего ближе она, пожалуй, к Евгению Кропивницкому — у того первые сложившиеся стихи помечены 37-м годом, у Яна, по-моему, 39-м».

О том, что, по-моему, Сатуновский был *не совсем лианозовцем*, я уже говорил. Но и Сапгир прав — в своем желании видеть сходства и не придавать большого значения различьям...

Его быт мало чем отличался от быта советской интеллигенции тех времен.

Из воспоминаний Елены Сатуновской: «Мы жили в малоинтеллигентном городе Электросталь. Жили очень скромно. Но сколько я помню, у нас всегда были книги. На самодельной полке, отдельно от других книг стояли маленькие томики. Это была заветная полочка отца, он частенько брал томик в руки и переставал существовать даже для нас. Он любил читать стихи вслух. Очень четко, отрывисто, чеканно. Кстати, он прекрасно имитировал Северянина, Маяковского, Маршака, Кедрина и других поэтов. Папа был мало музыкален, но с удовольствием, грассируя, пел песенки Вертинского, особенно часто "Доченьки, доченьки, доченьки мои". Папа читал нам Хармса, Тувима, Маршака. Он великолепно читал прозу. Мне запомнилось как однажды (мне было лет 7—8) папа, читая нам с сестрой "Ревизора", изображал в лицах

сцену с Бобчинским и Добчинским. Сначала в дверной щели показывались папины нос и усики. Затем дверь разпахивалась, и отец плашмя падал на пол. Эта сцена по-мейерхольдовски была великолепна, я ее вспоминала на спектакле в театре Сатиры, но там я так не смеялась.

Однажды (мне было лет 12) я заболела, меня должны были положить в больницу. Папа, увидев меня расстроенной, взял в руки невзрачную книгу и начал читать. Боль и печаль улетучились моментально. Это были «Одесские рассказы» Бабеля. Когда мне исполнилось 14 лет, отец дал книгу стихов Иосифа Уткина. Он очень радовался, когда началась моя поэтическая страсть. Поэта из меня не получилось, но поэтический вкус — это папина заслуга. Непременным условием таланта он считал трудолюбие. Сам был необычайно трудолюбивым и строгим к себе поэтом. Сколько я помню, папа правил свои стихи постоянно, даже 20-30-летней давности. У него никогда не было кабинета и возможности сосредоточиться. Он всегда был обременен семейными заботами. Не знаю, когда писал стихи. Любил писать, сидя на корточках, фиксируя строки на библиотечных карточках. Читал колоссально много. Он был всегда в курсе всех литературных новинок, всего, что волновало мир московской интеллигенции. У него была прекрасная домашняя библиотека. Отец не был собирателем книг, не был сторонником (и не только по материальным соображениям) полных собраний сочинений. Он считал, что у очень немногих все написанное ими достойно внимания. Любил Гоголя, Тютчева, Марка Твена, Анненского, Пастернака, Маяковского, Цветаеву, Булгакова, Бабеля, Хлебникова, Мандельштама, Зощенко, Олешу, Чуковского, Маршака, Сапгира и даже Вознесенского».

В 60-е годы Сатуновский знакомится и дружит с талантливыми литературоведами, двумя Владимирями — Глоцером и Приходько. Знакомится с Алексеем Крученых (1886-1968), последний сборник которого «Ирониада» был издан в 1930 году гектографическим способом и тиражом в 150 экземпляров. Более при жизни его стихи никогда не опублико-

вались. Об этой встрече Я. Сатуновский написал стихотворение:

### ПОСЕЩЕНИЕ А. Е. КРУЧЁНЫХ

Мы с тобой на кухне посидим...

Ос. М.

Беленький, серенький Дырбулцил:

— К Троцкому я не ходил,

к Сталину не ходил,

другие кадили...

Слабость, и задышка,

и рука-ледышка.

Товарищ гражданин,

присядем, посидим.

А потом из ручки Глоцера

разборчиво:

Поэту Я. А. Сатуновскому

АКр

— 16/XI

1967

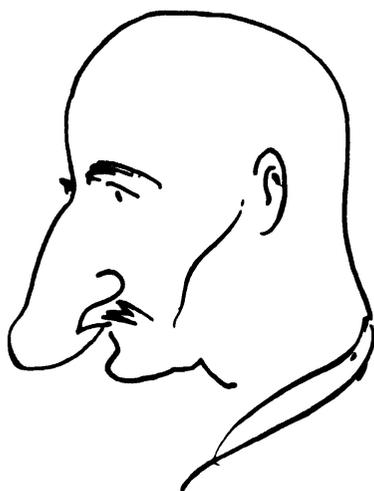
г. Москва

Геннадий Айги в книге «Разговор на расстоянии» (СПб., 2001) рассказал об этой встрече: «Алексей Крученых терпеть не мог современных поэтов, точнее — почти никого из них для него не существовало. Однажды Сатуновский позвонил не знавшему его Крученых, и ничего не объясняя, начал читать свои стихи. Крученых молча слушал. В какой-то момент Яков Абрамович остановился. “Дальше, читайте дальше”, — потребовал Крученых. Когда чтение прекратилось, Крученых сказал: “Где вы находитесь? Мой адрес знаете? Сейчас же приезжайте”. Пожалуй, это был один из уникальных случаев, когда Крученых признал поэта как своего, идущего от линии Маяковского, Каменского, Хлебникова».

Отправной точкой его поэзии был, конечно, Владимир Маяковский и его первый поэтический манифест: «Улица корчится, безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать...»

Пристальное внимание к обыденной лексике, к языку «улицы» отличает всю поэзию Сатуновского. Он признавался:

Я был из тех — московских  
вьюнцов, с младенческих почти что лет  
усвоивших, что в мире есть один поэт,  
и это Владим Владимыч; что Маяковский —  
единственный, непостижимый, равных — нет  
и не было;  
всё прочее — тьфу, Фет.



Ян Сатуновский. Автошарж

И позже вспоминал: «Иначе судил о Маяковском Маршак. У меня сохранилась запись, сделанная после беседы с Самуилом Яковлевичем 31 мая 1946 года.

О Маяковском разговор зашел как бы невзначай. Со двора донеслась слащавая радиомузичка, явно действовавшая на нервы хозяину. Со словами: “Нет на прорву карантин — мандолинят из-под стен: тара-тина, тара-тина, тэнн”, — он захлопнул окно и сразу же заговорил о Маяковском, и вот что меня тогда особенно поразило: убежденность Маршака в народности Маяковского, в его глубочайшей связи с русским фольклором, особенно — с детским фольклором, со считал-

кой, дразнилкой, скороговоркой. Много лет спустя я понял, насколько прав был Маршак. Интуитивно угаданная им близость стихов Маяковского к детскому народному творчеству подтверждается скрупулезным литературоведческим анализом.

Маршак говорил, что "Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий" — типичная считалочка, близкая по интонации и словарю к так называемым числовкам:

Жили-были  
Сима с Петей.  
Сима с Петей.  
были дети.  
Пете 5,  
а Симе 7 —  
И 12 вместе всем.

Маршак был в восторге от этой строфы. Он несколько раз повторил ее, поочередно притрагиваясь в такт то к своей груди то к моей, точно гадая, кому из нас "выйти вон".

Потом он "исполнил" стихи:

Окна  
разинув,  
Стоят  
магазины.  
В окнах  
продукты:  
Вина,  
фрукты.

— Ну скажите, голубчик, — задыхающимся голосом спрашивал Маршак, — разве это не тот же ритм, что и в считалке:

Катилася  
торба  
С высокого  
горба...

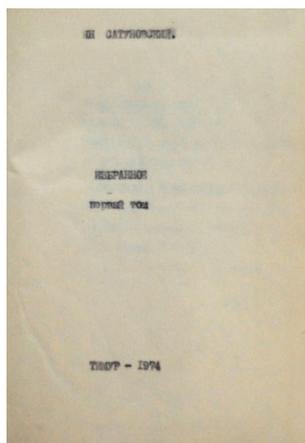
А ведь ритм Маяковский считал основой всякой поэтической вещи!"».

Может быть, поэтому в 60-70-е годы стихи Сатуновского казались редакторам толстых журналов анахронизмом. Его привлекали и чисто формальные эксперименты типа «глобой куздры». Он возродил забытый в СССР жанр центона, который известный стиховед Квятковский определял как «род литературной игры, стихотворение, составленное из известных читателю стихов или поэтов» так подобранных и сложенных, чтобы возникало совершенно новое по смыслу произведение. Наиболее известным, можно сказать, хрестоматийным центоном стало стихотворение Сатуновского «Хочу ли я посмертной славы». Жанр центона успешно развивал, следуя Сатуновскому, поэт Всеволод Некрасов. Лучшие стихи Яна Сатуновского полны живым ощущением современности, неповторимости каждого дня, каждого штриха эпохи. Он, как Гарпагон, тщательно собирал эти неповторимые черточки, скопидомствовал, а потом раздаривал в стихах. Как, к примеру в этом, посвященном Иннокентию Анненскому:

Что-то знакомое... только забытое  
словно дождь косой плетень  
(Боже! —  
тень с косой...  
пле... сло...  
день не дожит...)  
и сладок Анненскому запретный плод.

Все попытки Сатуновского напечатать оригинальные стихи в столичных журналах оканчивались неудачей. Литконсультанты, это крапивное семя русской поэзии, советовали ему внимательно изучать труды профессора Л. Тимофеева, чтобы научиться писать «настоящие стихи». Афористичность многих его стихов производила на них впечатление незаконченности.

В моем архиве сохранился отзыв из самого либерально-го в отношении стихов журнала «Юность»: «Ваши стихи мы в свое время оставили с надеждой опубликовать их. Однако, это сделать так и не удалось. Рукопись ваша рассматривалась недавно, когда мы составляли план II полугодия 1977 года. При всех очевидных ее достоинствах она, к сожалению нашему, не имеет заметных преимуществ перед другими. Не огорчайтесь. Будем думать, что следующая наша встреча окажется более успешной».



Титульный лист первого тома самиздатского трехтомного собрания сочинений Яна Сатуновского

Спустя десять лет, уже после смерти дяди Яши, когда наконец-то начали отворяться, постепенно, со скрежетом, заржавевшие окна и двери «железного занавеса», когда воздух едва-едва начал проникать в пространство СССР, уже после публикации в «Московском комсомольце» большой подборки его стихов, я отнес его стихи в очередной толстый московский журнал. Спустя месяц получил отзыв, который стоит сравнить с тем, десятилетней давности: «Большое вам спасибо за внимание к нашему журналу, за присланную подборку Я. Сатуновского с вашим предисловием. С интересом эту подборку прочитали, однако опубликовать ее не сможем. Места для поэтической рубрики „Из литературного на-

следия” отводится в нашем журнале немного, а материала — масса. Приходится проводить строжайший отбор и, увы, отказываться даже от интересных публикаций. Рукопись возвращаем». Этот отзыв подписан не безликим литконсультантом, а поэтессой Татьяной Бек.

...Я уже упоминал, что единственная прижизненная *взрослая* книга стихов Сатуновского вышла на Западе. Вот вкратце история этого издания.

Но сперва — небольшое отступление о моем *первом опыте Самиздата*.

В 1972 году вместе с Николаем Боковым мы издали в самиздатском варианте книгу Геннадия Айги. Осенью 1972 года я уехал преподавать на север Калининской области, неподалеку от города Весьегонска. Мой друг, сотрудник издательства МГУ, мастерски переплетал Самиздат, используя грубую ткань, напоминающую мешковину, которая у портных называлась «бортовкой». Он и переплел машинописный томик «Избранного» Геннадия Айги. Коля Боков оставил один экземпляр у себя, один у меня, остальное отдал Гене. С этого момента стихи начали жить собственной жизнью. Книгу прочла композитор Соня Губайдуллина и, замороженная их скрытой музыкальностью и живописностью, положила на музыку.

Мы дружили с Леонардом Данильцевым, талантливым художником, мужем певицы Лиды Давыдовой. Она, обладавшая замечательным меццо-сопрано, на одном из концертов исполнила эти сочинения Губайдуллиной с ансамблем «Мадригал». Так романсы Айги стали известны московской публике. С тех пор Гена называл меня своим «первопечатником».

Узнав, что стихи Яна Сатуновского никогда не издавались, я решил восполнить этот пробел и при его жизни издать его «Избранное». Это было в конце 1973 году, когда я вернулся в Москву. Никто не верил в мою затею. В том числе и Яков Абрамович, с которым мы к той поре подружились. Тем не менее, свой архив он для меня открыл — полностью. И я едва не утонул в этом бумажном омуте.

Моя работа едва не была прервана допросами в КГБ и угрозой обыска в январе 1974 года. Пришлось перепрятьвать уже подготовленные к изданию стихи Сатуновского. И все же в середине 1974 года его «Избранное» в трех томах тиражом... в семь экземпляров, отпечатанное на папиросной бумаге, увидело свет. Тираж разошелся, естественно, мигом, но один трехтомник у меня сохранился. Помню поразившую меня реакцию дяди Яши. Он взял книги и... словно бы не видя, ощупью проверил — правда ли? А потом медленно раскрыл один из томов и так же медленно, теперь уже внимательно... нет, не читая — разглядывая, стал листать. Я потом вспоминал эту сцену всякий раз, когда слышал Галича — «Песню про велосипед»: «...книжку-то можно?! Книжку! Ее — почему никак?!»

И, так же, как в случае с книгой Айги, трехтомник зажил своей жизнью. И, опять же, благодаря Соне Губайдулиной, с которой мы были дружны. Она положила на музыку пять стихотворений Яна Сатуновского для детей. Песни «Кукушка», «Жил да был», «Как курлычут журавли» и «Песенка-считалка»<sup>2</sup> в исполнении семилетней Лены Ступаковой (партия фортепьяно — Ольга Ступакова) прозвучали в радиопередаче «Для маленьких» 25 марта 1976 года.

Тем временем экземпляр трехтомника удалось переправить в Париж. И там началась подготовка к изданию книги Сатуновского. Однако, когда Петру выпала редкая по тем временам удача — поездка в Париж, Яков Абрамович поручил брату передать Оскару Рабину просьбу — остановить это издание. Он боялся провокаций, боялся за своих взрослых дочерей — вполне реальные в этом случае неприятности отца могли сильно осложнить их жизнь. Оскар, конечно, расстроился, но выполнил просьбу. Книжка не вышла.

Страху обычно стыдятся, вернее, не самого страха, но признания в том, что поддался ему. Сатуновский и тут остался верен себе, — я бы сказал, что он бесстрашно признался в

---

<sup>2</sup> В списке сочинений Губайдулиной на сайте французского Института музыки и акустических исследований IRCAM значится еще одна песня на стихи Сатуновского: «A Fairy-tale Creature».

том, что поддался этому чувству. Далеко не всякий поэт пошел бы на такое:

Пришёл ко мне товарищ Страхтенберг.  
Какой он старый,  
просто смех и грех.  
Товарищ Страхтенберг,  
товарищ Мандраже,  
садитесь; — не садится; — я уже...

И все же стихи Яна Статуновского появлялись в зарубежной печати: первым «тамиздатом» стал парижский альманах «Аполлон», изданный Михаилом Шемякиным в 1977 году. Затем «Антология русской поэзии XIX—XX веков» (Белград, 1977). В 1980 году подборка стихов Яна Сатуновского попала в первый том «У Голубой лагуны», антологии, подготовленной Константином Кузьминским и Григорием Ковалевым.

А с изданием книг — в итоге — вышло так, как и должно быть: сначала — в России, потом — в Европе. Правда, должно *быть* прижизненно, а не посмертно, как у Сатуновского. Но теперь уж — как есть...

Книга стихов Яна Сатуновского «Хочу ли я посмертной славы...» — усилиями его брата и дочерей — увидела свет в 1992 году, в Москве. К десятилетию со дня смерти поэта.

Не знаю — как насчет *посмертной славы*, нрав ее загадочен, однако совершенно мне ясно, что без этой книги, без этих стихов русская поэзия XX века была бы неполна...

Годом позже Гена Айги переслал «мой» трехтомник немецкому слависту Вольфгангу Казаку в Кёльн. В девяносто четвертом Казак издал в Мюнхене стихи Сатуновского под очень странным заглавием — «Рубленая проза. Собрание стихотворений»<sup>3</sup>. Противоречие выглядит завлекательным — для читателя-покупателя, но, боюсь, тем его смысл и ограничивается: едва ли поэт согласился бы с тем, что сочиняет «рубленую прозу».

---

<sup>3</sup> <http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=1285>

Поэт, который говорил: «Стихи — моя жизнь».

Казак несколько дополнил «мой» трехтомник, но ошибочно указал, что составлен он самим автором. И это тем необъяснимей, что в издании воспроизведен самиздатовский титул трехтомника, на котором указано издательство и год — «Тимур. 1974». Тамерлан Демидов или упрощенно — Тимур — один из моих литературных псевдонимов, щедро подаренных некогда Колей Боковым.

Умер Ян Сатуновский 12 августа 1982 года. В Московском клиническом институте им. Владимирского ему удачно провели операцию по удалению аденомы простаты, но при этом внесли с кровью инфекцию и «болезнь Боткина» свела его в могилу за один день. У меня сохранился один из вариантов автобиографии, написанный в больнице уже после операции. Он оставался верен себе и пунктуально фиксировал свой выход из наркоза: «...глубоко в кустах, постепенно выступая на поверхность, — подожди, да ведь это в больнице, в МОНИКИ, в двух шагах от теперешней квартиры одного моего хорошего знакомого, я там уже сто раз, не меньше бывал, — врач-уролог только что сделал мне операцию на мочевом пузыре — а мой брат и моя жена стояли под окнами и ждали — и вот, я не умер, вот я лежу, постепенно выступая на поверхность, так что болезнь и смерть, и наркоз — веселящий газ — постепенно отступают от меня.

Несколько позже я написал об этом в стихотворении: «...это — эн-два-о, веселящий газ, черный глаз анестезиолога, всмаривающийся, как сварщик, с высоты» — и тот самый мой хороший знакомый, о котором... Да вы его знаете, это поэт Генрих Сапгир, и Генрих сказал: „Нет, веселящий газ — это ты плохо придумал“, — но я-то знаю, что я этого не придумал, а кто придумал, я забыл, забыл и все. Всю жизнь писал экспромты; точнее, все, что напisyвалось, получалось экспромтом для меня самого (какое все-таки, это противное, Северянинское слово). И вот что странно — Северянина я не особенно люблю, можно сказать, недолюбиваю, но обожаю (тоже не хуже экспромта) — кого бы вы думали? — Вертинского! Ну вот, я заговорил, как древняя пифия, из чрева.

Не хватает еще написать. Поэзия и музыка — как же это в сущности разные стихии. Лягу лучше спать».

И он уснул. Это был переход от земной жизни к вечной. Был ли он религиозным человеком? На этот вопрос Ян Сатуновский ответил в стихах еще в 1959 году:

Я хорошо, я плохо жил,  
и мне подумалось сегодня,  
что, может, я и заслужил  
*благословение Господне.*

С этим стихотворением живо перекликается еще одно, уже 1980 года:

Господи, ад и рай!  
Господи, я твой раб!  
Разные на земле цветы,  
в марте мимоза это ты.  
Господи, не погуби, смилуйся!  
Господи, погоди...